

Телеграммы от президента очень помогают, когда они вложены в водительские права

Новое 203 - 2004-26-28 июня - с 24-25

Семидесятые — девяностые — это уже так близко, что, кажется, не должны еще ни стереться, ни забыться. Но слушаешь Германа — и понимаешь: все наоборот. Наверное, люди, живущие в эпоху перемен, подвержены особому виду склероза — историческому. Они начинают усердно вспоминать очень далекое, а вчерашний день затягивается плотным туманом. И только художники сохраняют детскую отчетливость памяти. Алексей Герман из них.

Третья серия:

от Брежнева до Путина

А страна постепенно леденела. Семидесятые — годы предательства и неофициальных запретов. Того делать нельзя, сего делать нельзя. Кирилл Лавров снялся в картине, где лежал в постели с Купченко. И вдруг ночью звонок: «С вами будет говорить Романов». Лавров простоял два часа с трубкой у уха и наконец услышал нетрезвый голос Гриши: «Вы, депутат Верховного Совета, валяетесь в постели с бабой на глазах тысяч советских граждан!» Ту-ту-ту... Авербах сходил с ума. Он хотел снять «Белую гвардию» и не знал, чем ее кончить. Сценарий принимали с условием, что

приход в Киев красных был бы счастьем. И у него это не получалось. Я слышал в кафе, как один режиссер завидовал другому, чей критический фильм о железнодорожниках совпал с тем, что как раз сняли министр путей сообщения. Потом вдруг появлялся Тарковский. ...В 1984 году мне разрешили «Лапшина». И я стал знаменитым. За год я получил две Государственные премии. На премьере в Доме кино в 1985 году было столпотворение, мне разбили голову, когда под видом французенок я попытался провести двух дам. Одной наступили на ногу, и она вполне по-русски матокнула. «Французен-

ки, говоришь?» — переспросил охранник и огрел меня палкой по голове. Я на него не рассердился. А дальше я пережил одно из самых страшных испытаний своей жизни.

Мы сидели в фойе и пили водку. И вдруг люди начинали выходить из зала. Десять человек, сто человек, триста человек. Я — весь мокрый. Потом один вдруг остановился передо мной и низко, в ноги, поклонился. Только тут я сообразил, что картину запустили в двух залах, и в первом — на сорок минут раньше. И это уходит отсюда. А наутро — звонки, звонки, звонки. Но на это понадобилась вся моя жизнь. В принципе, мне искалечили. Пятнадцать лет пролежала на полке одна картина, полтора года — другая, четыре года пролежала третья, а я из-за этого не знаю сколько пролежал лицом к стене, вместо того чтобы снимать. Что там говорить...

Меня объявили кинозачинщиком перестройки, сразу выбросили в Финляндию — и по-неслось. Каждый месяц я куда-то летал. В глазах уже рябило и мелькало. В Швейцарии мне показали картину «Один день



С Никулиным — на съемочной площадке фильма «Двадцать дней без войны»

Алексей ГЕРМАН:

Полвека без хозяина

Документальная лента



«Трудно быть богом»

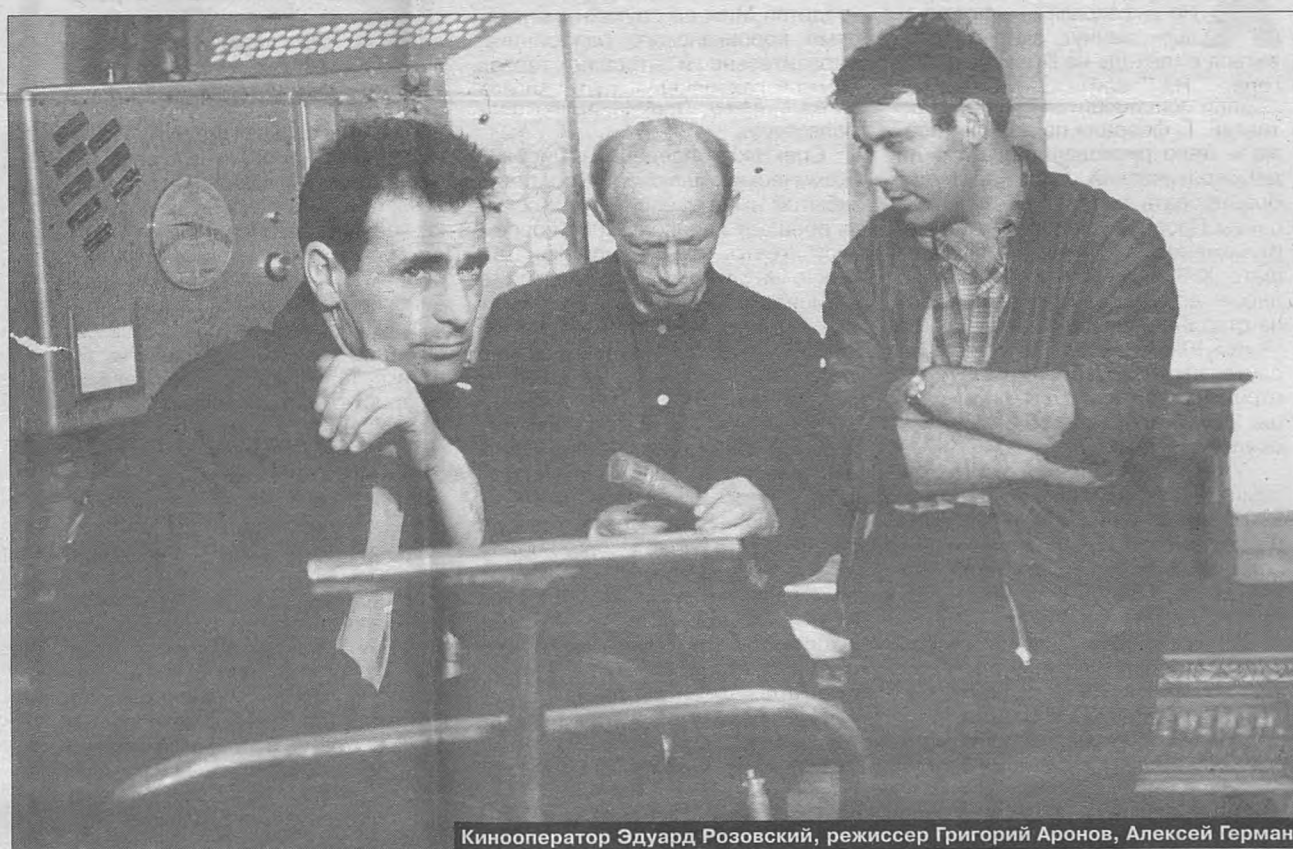
Ивана Денисовича», где заключенные в медпункте сидят с градусниками во рту. Я вспомнил про папиного знакомого, очень крупного врача, который сел. Его рассказы о смерти Сталина я использовал в фильме «Хрусталев, машина!». Он в зоне так намучился в сортирах, где шеренга из пятидесяти человек, локоть к локтю, сидела на пятидесяти дырках, что все семнадцать лагерных лет мечтал об уборной со стульчаком, обитым бархатом, и с книжной полкой, на которой стоит «Граф Монте-Кристо». Когда вышел, он первым делом осуществил свою мечту и проводил «внутри» нее часы. Я вспомнил о нем и сказал: выключите эту чушь на фиг...

Стали вызывать к Горбачеву на заседания, где он собирал творческую и интеллектуальную элиту, чтобы чувствовать общественный пульс. Но общественного пульса там не было, потому что все стучали друг на друга, — народ, который стучал шестьсот лет, не может сразу тормознуть. На лице у Сахарова была маска. Распутин повторял: «эти гаммасексуалисты», и все стеснялись его поправить. Старый Михалков жаловался: «Над гимном смеются, над гимном смеются...». За колонной стоял Бондарев, человек, который взорвался на антикультовой «Тишине», а всю карьеру построил на реабилитации Сталина, — стоял и всех ненавидел. Лихачев возмущался, что «в поезде со мной ехал какой-то черт и что-то говорил, и что-то просил подписать, а я хотел спать, я принял снотворное. И я подписал. А человек оказался из «Памяти», и бумага оказалась антисемитской мерзостью».

Ростокский, которого я всегда любил, потому что он мне тихо помогал, говорил, какой трагедией будет для него развал Советского Союза: «Я защищал эту страну, я ранен в этой стране, я хочу в ней умереть». «Тогда надо поторопиться», — советовал ему Рязанов. Ролан Бы-

ков, выступая, так волновался, что нес полную околесицу, а потом шептал мне: «Что они про меня подумали? Что они про меня подумали?». И я успокаивал его, что они очень хорошо подумали и карьера твоя взлетит еще выше: они подумали, что ты очень глупый, что неправда. И талантливый. Что еще нужно власти, чтобы любить художника? Чтобы он был талантливый и глупый...

К Ельцину я попал дважды. В первый раз он меня засунул под пиджак, и я оттуда пискнул: «Борис Николаевич, дайте денег на кино». Меня научили, что просить надо у него. «Россию любишь?» — пророкотал Ельцин сверху. «Очень люблю, Борис Николаевич, очень, очень люблю». — «Тогда все будет в порядке». — «И денег дадите?» — «Денег не дам, но все будет в порядке. Ты, главное, Россию люби». Во второй раз это было собрание антифашистского комитета. За «круглым столом» — Ельцин и зловещие диссиденты, которые даже не встали, когда он вошел. Я встал. Все были очень сердиты и наперегонки хамили президенту. Потом всех пригласили к столу.



Кинооператор Эдуард Розовский, режиссер Григорий Аронов, Алексей Герман



С Владимиром Венгеровым

Выпивают, закусывают и опять хамят Ельцину. Тогда я поднялся и говорю: «Борис Николаевич, вы их не слушайте, с той поры как Державин читал здесь императрице олу «К Фелице» — самое худшее произведение классической литературы, — с той самой поры и до сегодняшнего дня этот зал никогда не слышал, чтобы с правителями так разговаривали. Надеюсь, что это будет продолжаться. Я хотел бы выпить лично за вас. Потому что при вас это стало возможно. За вас и за олу «К Фелице»».

Один раз меня вызвал к себе Чубайс — тогда глава администрации у Ельцина. Он меня спросил, как я отношусь к режиму. Я похвалил кабинет. Он согласился: да, турки построили очень хорошо. Сели за стол. На нем — бутерброды. А в стене — железная решетка. Я ее потрогал — и вдруг она отошла и из черной дыры посыпались на стол с едой кирпичи, цемент, палки, черепа, челюсти царей, монеты — все, что может посыпаться из Кремлевской стены. В общем, разговор получился и Чубайс мне понравился. А в прошлом году он меня поздравил с днем рождения. Не по тому адресу, не в тот месяц и не с тем именем-отчеством. Я ответил: «Анатолий Исаакович, адрес у меня такой, день рождения у меня тогда-то, зовут меня так-то, но, в принципе, большое спасибо». Через месяц на студию принесли телеграмму: «Алексей Юрьевич, поздравляю еще раз. Анатолий Исаакович Чубайс». С тех пор он мне нравится еще больше.

сел президент, я совсем прижался. Оглынуться боюсь. А ну-ка, и он мне начнет семафорить? Тогда что?.. На следующий день празднования продолжились в Царском Селе. Яantarная комната была набита вождами, и все цокали языком. Я решил прогуляться по саду. В садике стоял страшный чеченец. Я понял: это конеш. Сейчас мимо меня пронесут спеленатого в одеяло Путина. Надо бежать, предупреждать, бросаться грудью на амбразуру. В это время зашевелились кусты — и оттуда вышел, застегивая штаны, Берлускони и очень доброжелательно на меня посмотрел.

Мы опять всего боимся. Терроризма, преступности, государства. Недавно меня пригласили на НТВ и попросили рассказать что-нибудь о войне. Среди прочего я рассказал, как папа брал интервью у командира крошечной подводной лодки, Героя Советского Союза. Он потом погиб при перегоне. Он был еврей. Папа спросил: «Почему вы так хорошо воюете?». «Я хочу», — ответил он, — чтобы после войны исчезло слово «жид». Энтэвэшники мне хором обещали, что это останется. И убрали... Из «Известий» выгнали Юру Богомолова. Я с друзьями перебрал все версии и выбрал одну, к сожалению — самую достоверную: мы с Юрой на страницах газеты упражнялись в легком покусывании Михалкова. Михалков пожаловался Потанину, тот попросил выгнать журналиста — и его выгнали. Меня выгоняли много раз, и я знаю, что это та-

Последний раз я тесно общался с властью на трехсот-летию Ленинграда. В Мариинке, где проходило главное торжество, мое место оказалось в первом ряду, где-то посередине, точно за спиной Гертвие. Смотрю по сторонам и вдруг замечаю, что Кучма делает мне знаки — надо поговорить. Кучму я никогда живого не видел. Только по телевизору. Обращиваюсь — Шеварднадзе делает такие же знаки: мол, поговорим? Я дико испугался. Что я скажу Шеварднадзе? Подари-ка мне, братец, кусочек Гагр? А Кучме сообщу, что Гоголь был еврей? Не о чем мне с ними разговаривать. Видно, меня посадили на место, где должен сидеть важный чиновник, и они меня с кем-то спутали. Не такая уж у них пронзительная память. Когда же созда-

кое. И если это так, и если главный редактор по звонку миллиардера выгоняет журналиста — это начало падения. В следующий раз он позвонит Матвиенко — и меня выгонит из Ленинграда. Он становится моим хозяином. А я прожил жизнь так, как прожил, чтобы надо мной не было хозяина.

Единственное, что радует: Путин мне присылает поздравительные телеграммы к каждому празднику. И это придает мне определенную уверенность: каждую телеграмму я вкладываю в водительские права.

● Монтаж — Илия Гуциня Фотолента из личного архива А. ГЕРМАНА — публикуется впервые